Виктор РУЖИН

НЕНУЖНЫЕ ЛЮДИ

С самого мальчишества Игнатку Землякова отец держал в строгости, нежности да всякие там ласки не дозволял. Просто он для него был рядом живущий. И в глазах сына стоял не отец, а насупившийся кряж. Влас Земляков был изобретатель-самоучка, смастерил себе самодельный телескоп и по ночам через открытую форточку смотрел на звёзды. А сыну было любопытно. Что он там всё ищет? То ли других людей, то ли другую жизнь, но всё смотрит и смотрит. А может, родственные души хочет встретить? Игнат слышал, как отец говорил, что он слышит их голоса. Они где-то рядом. К телескопу Влас никого не допускал: ни своих семейных, ни чужих. Но когда отца не было дома, Игнатка всё-таки добрался до телескопа и стал тоже смотреть на звёзды. Таращился, таращился и ничего там интересного не нашёл. Тогда он ещё яростней стал смотреть, ведь что-то же там отец находит, и, увлёкшись, в запальчивости уронил телескоп, и телескоп сломался.

Увидев разломанное своё устройство, над которым Влас трогательно корпел, в которое вложил всё своё умение, силу и жизнь, он в страшном гневе стал бить сына. Тот, вырвавшись, выбежал на улицу. Влас за ним. Догнав Игнатку, он зажал голову сына

меж своих ног, снял с себя ремень и, спустив с Игнатки штаны, стал пороть на глазах опешивших соседей. Игнатка неистово кричал и рвался. В злобе отец бросил одуревшего от рёва сына и ушёл в дом.

Сломанный телескоп – это все равно что сломали его самого, такого стерпеть он не смог. Через телескоп хочется Власу найти что-то интересное, чем-то занять себя от плохой земной жизни. Ему обязательно надо отогреть сердце другой жизнью, отогреть от жестоких людей, от их лютости. Скулит у него душа по матери и отцу, и желает он эту боль затянуть небесным смотрением. Был Влас ещё мальцом, когда большевики вывели его родителей за деревню и расстреляли. Расстреляли, признав их народными мучителями. А эти мучители всего лишь не терпели лодырей, пьяниц да бестолковость. Зависть мутила сознание: «Ты посмотри-ка, как живут-то хорошо. Ишь ты, какой дом у них красивый, да и кирпичный. Хозяйство исправно держат, сволочи. Вона какие у них сытые лошадки, и пшеничка вдоволь водится».

Испугавшись винтовок и злых людей, Власка спасся, спрятавшись в бурьяне, и после выстрелов он пополз к родителям. Добравшись до них, он приблизился к убитой матери. Отец лежал рядом ничком, уткнувшись головой в землю. Мать лежала на спине с открытыми глазами, смотрящими в небо. Эти глаза просили защиты у неба, а вышло по-матерински проститься с небом и Власом. Материнские глаза стоят у него в памяти. И небо тянет его, напоминая о родных глазах. «Мёртвые держат живых» – это стало для Власа воочию. Ему помнится, как отец серчал.

– Недоумки, только ритм сбили, жизнь под корень сковырнули. Чехарда теперь плясать пойдёт, всю здравость срушили.

Старшие братья и сестра разбежались, и больше они уже не встретились. Дорожки их разошлись навсегда. Дорожка Власа проросла колючками, прошла по впадинам и буграм, помутнениями и светлыми вспышками, срывами и подъёмами, по велению безжалостной судьбы.

У Власа с возрастом стала болеть голова, и при сильных приступах он повязывает её чёрной повязкой. Влас Земляков работал в шахте электрослесарем и слыл народным умельцем. Много он вносил рацпредложений по работе, но от него только отмахивались. И он остыл, поняв, что никому это не нужно, не до него, есть дела поважней. Как игре в социализм придать вид серьёзный и реальный, как из фикций вывернуть дела, похожие на настоящие? Из ничего сделать что-то – это фокус золотой рыбки. А состряпать из вранья социализм – это серьёзнее, даже рыбке не под силу. Какую силу надо из притворства войти в строгий вид. Вид правды... И быть всё время начеку. Такая клоунада – это дело не шуточное и высасывает много сил. Сила выживания у каждого своя, каждый выживает как может. Один прикидывается, что верит, другой убеждает себя, что верит в коммунизм, и всё для того, чтобы быть и ходить у власти в хорошеньких.

Если Влас не пьёт, то мужик он, привлекательный своей задумчивостью. В нём спрятана сила пытливого ума, и сидит она в нём червоточиной, точит его и точит. Когда в голову Власу залазят черти, он не мешкая бежит в магазин за водкой и пьёт её до одурения, пьёт неделю, а то и две, чтобы одуреть. Через дурь он обороняется от червоточины да навязчивых чертей, чтобы их выгнать. Но черти не хотят вылезать из головы, и тогда он взъерошивается и ерепенится. В дебоширстве изводит семью. И семья разбегается быстрей чертей. В это время жена Лиза не заходит в дом и ночует в огороде, прячась в картошке, пока большой и грозный Земляков не перебесится.

А Игнатка предоставлен себе, наслаждается свободой, целый день отсыпается в стайке, а вечерами слоняется да ширмачит. Сам себе хозяин. Игнату нравится летать. Это его лучшее состояние души. Он много летает во сне и когда просыпается, то самый счастливый на свете. После отцовской порки у него отложилось в голове, что нет в этой жизни ничего настоящего, всё нарошничное, всё какое-то кувырково-заигранное. И он тоже у родителей неправдашный, так себе, игрушка для забавы, которую можно зашвырнуть как надоевшую.

Во время запоя для Власа все бабы – дуры и в головах у них одни тараканы. Ну а для жены все мужики, конечно, сволочи.

Подурев, Влас бросает пить, становясь задумчивым и внимательным. Начинает серьёзно оправдываться перед семьёй и людьми, вежливыми манерами и мягкой речью утверждается, что, мол, это всё неспроста, это необхо-

димая нужность жизни. И этим смекалистым убеждением вселяется во всех своей тактичностью. И про свою спутницу он уже не может сказать, что все бабы дуры. И жена, подобрев, молчит, и муж для неё переходит из плохих в хорошие. Так же и она для мужа похорошевшая. И жизнь становится на прежнее место, начинают жить, как и прежде, – всяк сам по себе. Муж – увлечениями, жена – заботами.

Влас не жил, а приспосабливался, он не оголял свой внутренний мир, а зажимал его в себе, вынужденно врал, скрывая свою вражду к лживому лоску, и на ложь отвечал ложью, защищаясь от показного патриотизма и преданности к навязанной идее коммунизма. Он чуял, что такой строй не вечный жилец, где все скованы обручем безликой кучности без понимания того, что происходит в жизни.

Школу Игнатка промозолил ни рыбой ни мясом, проскакал примелькавшимся середнячком. До тошноты нахлебался он ученического бульона, а пятёрки на зубах всё-таки не хрустели, лишь тройки слетали шелухой, прикрывая двойки, но читать почитывал для смаку и ядрености души и от лопушастика в беззаботном задоре добрался до юнца. За партой он получил прививку – «смысл в жизни не добывать». Зачем? Если он уже добыт с тысяча девятьсот семнадцатого года. Свет тебе уже зажжен и путь тебе указан, счастье у тебя в руках – и живи, не кувыркайся. Это раньше было темно, а сейчас свет, и давай-ка шагай да шагай, не кручинься, поживей и в ногу, в ногу, не сворачивая, и с песнями вперёд. Но, вопреки учебной болтушке, Игнат всё-таки для забавы был пытлив и любопытничал, что там происходит за рамками школы. И как мал-мал оперился, он тут же шагнул в армию.

Но там оказалась поступь другая. Вначале для проверки на смётку армия трошки побаловалась с Игнаткой. Для боевого крещения показала ему, где раки зимуют да как портянки пахнут. Потом сердито шарахнула под дых и пустила пацана тащиться на полусогнутых да отбывать в почитании да в ревнивом подчинении службу. И вот он, обкатанный муштрой, отчеканенный дрессировкой, вылетел пугливым стригунком на гражданку. Но ещё долго не покидали его слова «есть», «слушаюсь», «так точно», «совершенно верно». Отдышавшись свободой, Игнат убился совестью, что он единственный у отца с матерью и родители затаив дыхание ждут наследника. Чтобы не томить их, он женился для оправдания надежд, да и род продолжить. Женился на хорошенькой блондинке, подкупив её рыжей кучерявой причёской и вежливым обхождением. И наследник вскоре обрадовал ждущих своим криком.

Завод, на котором Игнат что-то делал, а в основном не сознавая что, прозябал в одряхлевшем старчестве, душивший дымом и копотью, он гнобил Землякова-младшего гулом разбитых станков, визгом механизмов, расхлябанностью и нудной отбываловкой. И весь смысл Игната уходил в ожидание окончания смены. Отмывшись от копоти и масла, он летел домой, на островок тепла и уюта, уткнуться в мягкие объятия жены и щебетания сынишки. Он брал его на руки, подкидывал под потолок, теребил нос, игриво кусал уши, щекотал губами личико малыша, и, балуясь, они безудержно смеялись.

Когда Влас Земляков услышал, что все кричат «Ельцин, Ельцин, Ельцин!», на руках его носят, он тоже оживился, поворчал.

– Революция для жизни всё равно что дождь в зимнюю стужу, одно только смертоубийство.

А когда Ельцина на трон российский посадили, то от волнения Влас лёг спать. Но лёг он в одном строе, а проснулся в другом. Проснулся, вокруг осматривается, оглядывается, а Советского Союза нет. И тут он смекнул, что придуманный Советский Союз, этот балласт на здоровой жизни, приказал долго жить. Рухнул. И чем теперь лозунговая страна подменится: властью наглых бандюг или хваткими жадными чинушами? В общем, хрен редьки не слаще. Земляков не то чтобы покручинился, но как-то дрожью встряхнулся, вытянувшись, распрямился, крякнул и стал жить дальше. И хотя Влас к этой возне и ко всякому крику был равнодушен, его это не касалось, но на всякий случай чёрную повязку с головы снял. Снял то ли для приветствия чего-то нового, то ли от неприязни старого, он этим не задавался. Он просто подчинился всеобщему восторгу. Влас был холоден к людям, считал их недалёкими. «Они кичливы, носятся со своей персоной как с торбой и живут не разумом, а запалом чувств». Земляков Влас не может простить вздыбленное время, разрубившее ветвь его родословной.

И как всё поутихло, стали Ельцина ругать.

– Обманул нас, всё, что обещал, – наврал. Пускай под поезд ложится.

Земляков тут и понял, что человека Ельцина не стало, ушёл в себя, в своё имя и там исчез, ужаснувшись российской пропасти, нескончаемому шутовству и порокам. Стал болеть, спустился с капитанского мостика, и пошла кружиться важным вальсом мелкотравчатая публика. Закрутилось шулерство, потянув Россию в чёрную бездонную воронку.

Власу стало страшно, он почувствовал, что с него кожу сорвали, и стало ему зябко. Тогда он вновь повязал на свою разбитую событиями голову чёрную повязку и стал всё позёвывать и позёвывать. И как-то он подозвал к себе сына и сказал:

– Игнат, вот я умру, а ты будешь жить ещё хуже, чем я. Тебе будет тяжелее во сто крат, чем мне. Если большевики своровали у человека правду, то сейчас своровали и душу. Страна себя проедает, захребетников много. Шушера загнездилась, шушера. У нас ведь жизнь процветает не по способностям человека, а по знакомству и по блату, и жизнь от этого закисает в стоячем болоте, а у тебя ни родственников, ни знакомых нету. Идёт не жизнь, а эстафета смерти. Мёртвые по эстафете передают смерть, таща за собой живых. Россия большая, а пространства стало мало. Будете жить живыми мертвецами, мертвее мёртвых.

Игнат смутился, ничего не сказал, но эти слова запали ему в душу.

В преклонности Земляковы надоели близостью друг к другу. Мелочные подробности их ожесточили, отбили от супружеской жизни. И они пошумят, поскандалят и впадут в наслаждение тишиной. Отойдут отдыхать оглохшие тишиной и опять возьмутся скандалить. Так и пускают свою старость по гребешкам и спадам волны.

От резкого поворота страны у Землякова-старшего рот совсем не стал закрываться, и он умер с открытым ртом, хотел что-то сказать от обиды, но не мог. Только глаза его застыли в мысли: «Людишки вы людишки, никчёмный вы народ, какие-то вы все чужие друг другу, я тут с вами только себя потерял, а найти ничего не нашёл, и ухожу я от вас наконец в праздник, в высшую свободу». Так и ушёл Влас, ничего не сказав и никем не понятый, немотой повязанный. Ушёл к зовущим его голосам.

Жена Власа, живя без мужа, измучилась свободой. В свободе она чувствует себя несвободной, какой-то неловкой, как-то сиротливо. Что она никому не нужна. Тишина её пытает, тоска рвёт. Она не найдёт себе места в свободе. Все углы и места её презирают. За что ни возьмётся, всё не так выходит, и всё ей что-то мешает, всё что-то за неё цепляется. То угол стола в неё воткнётся, то табуретка ногу зашибёт. Неуклюжесть её всё преследует и преследует. Извелась она свободой, готова в петлю залезть. Устала она жить, видеть одни и те же стены, одни и те же лица и слушать одно и то же. Неуютно ей в свободе, слишком много углов да неведомого, слишком много враждебного пространства.

В развале потешной системы, как только Ельцин ляпнул от широкой души, не почесав затылок: «Берите суверенитета столько, сколько сможете унести», и ценовые вожжи отпустил, тут сразу и стали растаскивать суверенитет по своим хатам. Горячий Кавказ вспыхнул войной, кровушка водицей полилась, и гроздями посыпались срубленные головы. Взлетевшие мигом до небес цены с высоты стали народу страшные рожицы строить. Тут-то партийные перевёртыши быстро и легко преобразились, вместо пламенных борцов за коммунизм сразу стали пламенными строителями капитализма – бардака. Стали рубить шальные деньги да сходить с ума. Каждый упырёк тащит всё под себя, рвёт капитал народный и прячет кубышки за бугор. И пошёл парад безумств. Затрещала страна, загудел и народ: «Куда ты смотришь, царёк, не туда же, пляска идёт». И впрямь свистопляска шальная шла от Владивостока до Калининграда. Загуляла земля в воровской шалости, и проворные ребятки стали чистить всё, что плохо лежит и что нравится. Коршуном поднялся триумф бандитской ярости. Те, кто свистоплясали у трона, выплясали себе пирог с яблоками и стали неприкасаемыми, превратившись в элиту. А плясуны на задворках отплясали себе лишь чугунные крышки от канализационных колодцев. Грабёж выворачивал до изнанки. Маленькие пушистые бесенята подражали большим щетинистым бесам. Дьявольщина смерчем кружила.

В разделе безумств властвовал воровской делёж. Бесхозными оказались целые заводы, це-

ха, оборудование, механизмы и станки. И пошёл бум бесплатного дележа. Делили не заработанное, а свалившееся сверху добро, тайно, без согласия и участия народа. И тут же приёмные пункты для обслуживания воровства выросли как грибы: и в частных дворах, и в крупных складах по приёму металла. Стали сдавать всё. Не гнушались и кладбищами, тащили с них металлические памятники, оградки, тащили всё, что было железное. Плевать хотели на святые места. Шерстили общественные сады, утаскивали баки, лопаты, вилы, весь инструмент, трубы, металлические сетки, кастрюли, чайники, самовары, чашки, ложки. Тайфун не щадил ничего, ничем не брезговали, резали провода и кабели, всё, что принимали, – всё тащили. Этот смерч бушевал повсюду. Смерч предприимчивой руки хищника.

Игнаткин завод задохнулся в свистопляске и, закашлявшись в чаду, сыграл в ящик, сдох ни за понюшку табаку, как в старческой непригодности. Заколотили туда его купчики купи-продай. И пришлось Игнату под прощальный марш отшагивать домой на посиделки. И куда он ни сунется на работу, везде ему играют марш «Прощание славянки». Никому он стал не нужен, усматривали в нём лишь отработанный материал, не пользующийся спросом и не вписавшийся в склоченную жизнь. В знак кончины старого света Игнат на последнюю получку взял ящик водки и, забившись в одиночестве, в упавшем духе, горько пьёт, справляя поминки по ушедшему миражу идиллий и поминки по себе. Пьёт, чтобы лететь. Ему хочется улететь к звёздам от этой унылости и от страха будущего. Сидит он дома нос повесивши, горюет. А жена заявляется с новым мужем. Не стала она время терять, пока Игнат водку допьёт, и, чтобы ноги не протянуть с голоду с сыном, обзавелась денежным пухленьким уркой. И тот на правах нового мужа сразу бойко выступил хозяином. Не мешкая, он выкинул два перста вперёд и, шевеля ими, пошёл угрожающе на Игната.

– Ты, чмо, кинься отсюда, а то я сщас в твоих амбразурах свет потушу.

Игнату ничего не оставалось, как тряхнуть рыжей гривой, развернуться и убраться жить к матери.

Придя к матери, Игнат красноречиво изъяснился.

– Мать ты моя мать! Мои финансы такие сделали реверансы, что петь нам с тобой теперь романсы!

Мать вначале замерла от такой новости, но встретила сына с надеждой, что он хоть облегчит её старость. А сын только лёг и покуривает, не сходя с кровати, ушедший в мечту сладкого полёта. Тут мать в безмолвной холодной паузе и поняла, что на неё свалилась тяжёлая невзгода. Жить придётся теперь без покоя, в тревоге и в натянутых нервах.

В цвете сил мать не могла на сына насмотреться, когда он был маленький, рубашки его отглаживала, следила, чтобы костюмчик был на нём с иголочки. Ведь власть имущие пели всем счастье, и она верила, что её сынок будет обязательно купаться в этих кумачовых зорях и её старость обогреет. А что получилось? Он сел на её шею проедать её крохотную пенсию. «Если бы я знала, что он будет шалопай, я б его не родила. А то вырастила кукушонка», – мучили её мысли. И она стала на сына роптать.

– Ну что я, мать, сделаю. Нигде меня на работу не берут.

– По дому хоть что-нибудь помогай тогда.

Поднялся Игнат и отправился на промысел добывать металлолом да сдавать на приёмные пункты, хоть грошом на курево разжиться. Благо что в стране ещё со времён советов земля была загажена металлоломом. В лесных колках ржавели брошенные сеялки, бороны, плуги и много разного металла рассеяно на обширных полях. Эти поля ждали Игната в крике «бери, не ленись!». И Игнат бродил по приволью, разживаясь металлом. И находил не только металл, но и подружек, которые легко становились его женами. С жёнами Игнат был в полёте души. Летел в радостное состояние.

Шли к нему жить больные, спившиеся и битые женщины спасаться. Шли спасаться от отпетой жизни. Разочаровавшись во всём, они надеялись найти хоть у него уголок, ещё не зацапанный когтистой лапой прожорливого зверя, и были рады обмануться, чтобы быстрей их затащила к себе смерть.

Мать не могла с этим смириться, выгоняла приблудную жену из дому. И Игнат уходил вместе с женой жить в сарае. Очередь его жен была длинна и подвижна. Одни жёны убегали от него, другие умирали.

В холодную зиму мать не выдержала и, смирившись, пустила жить сына с женой в дом, чтобы они не замёрзли.

Мать много плакала. И, измучившись, она видит сон, как земля перевернулась и сбросила на адскую раскалённую сковороду её сына и множество таких, как он. В этом огне ада они, корчась от боли, в страшных муках сгорали. Сгорали без укора, молча страдали за грехи всех. А наверху сидят уцелевшие и наслаждаются счастьем невинности, не тронутые карой. Они обошли её, толкнув туда невинных. Столкнули в огонь за то, что они не такие, они не могут лгать, не могут воровать, не могут предавать.

И мать, не выдержав, закричала на сидящих вверху.

– Убийцы, несчастные люди за вас сгорают, они жертвы ваших преступлений. Они не могут выворачиваться, как вы. Они принимают смерть за то, что верили вам, а вы их предали, увернулись от суда и скинули их вместо себя. Ваши преступления не выдержала земля, перевернулась, а в аду гореть должны вы. А вы от суда откупились, кинули в пасть огня вместо себя невинных. Вы должны быть в ответе за всё.

Но слышит мать голос откуда-то: «Эти горящие грешны тем, что дали обворовать себя». От услышанных слов мать застыла.

Спит Игнат, изможденный мученической жизнью, а когда проснулся, мать мёртвая лежит.

– Ты чё, мать, умерла? Ты зачем так сделала? – закричал он не своим голосом. – Ты зачем умерла? – Смотрит он на неё и смотрит. Затрясёт головой и опять смотрит. Захлопав глазами, он вышел на улицу.

– Вот так да! Вот так да! Вот так да! – ходит и бормочет он. Ходит, ходит, а зачем ходит, он этого не знает, и что теперь делать и как быть, тоже не знает. А когда вернулся домой, мать всё так же мёртвая лежит, и голос в нём вновь заговорил: «Вот так да! Вот так да! Вот так да!»

Знакомые старушки скинулись и скромно, в молчаливой угрюмости похоронили мать Игната. А сам Игнат был с застывшими глазами и пустой головой. Он был отключён смертью матери и молчаливо, медленно выполнял только необходимые движения.

Металл в полях и в закоулках весь собрали, и Игнат вновь остался без работы. А воровать и тащить, как делают другие, он не может. Хотя люди его бьют и проклинают за ворованные вещи, за металл и проволоку, хотя он в этом неповинен. Но бьют его для острастки и для успокоения себя. А неугомонные злопыхатели переругались друг с другом. Каждый подозревает каждого, что тот плохо уничтожает Игната. Бесит их его обрёмканный внешний вид. Эти люди живут привычкой изничтожать себе подобных. А то, что Игнат не такой, что не похож на них, что он не благополучен, как они, они простить этого ему не могут.

Средства для пропитания Игнат стал теперь добывать на помойке.

Обследует мусорные контейнеры вместе с бездомными собаками и кошками. Собаки и кошки уступают ему в добыче, только молча смотрят, сопровождая его находки взглядом. Найденные им выброшенные объедки он не съедает тут же, а несёт домой, где ждёт его жена. И он радостно несёт ей, чтобы поделиться. Но однажды, придя домой, он обнаружил жену мертвой.

Хоронили жену безлюдно: только родственник умершей, Игнат и блаженный с небесно-голыми глазами, названный народом Немша.

Похоронная команда, наспех зарыв могилу, по свежему холмику хлопнула лопатой и крикнула: «Всё!» Уехала.

Оставшиеся трое ходили вокруг могилы. Родственник надел на деревянный крест венок и, сильной рукой привязав его проволокой, вымолвил:

– Давай здесь помянем покойную.

Потоптавшись, расселись на землю у могилы и стали пить. Задурев от выпитого стакана водки, Немша гордо и хвастливо стал вертеть пальцем у своего виска перед родственником. Улыбаясь, он указывал головой на заросшего, с всклокоченной бородой Игната, что тот совсем дурак. А Игнат на это только безучастно смотрит. Он летит к звёздам. Летит туда, где хорошие люди, где понимают, где не унижают.

Блаженный не унимался.

– Зачем бабу такую загубил? – приставал он к Игнату. И, замотав головой, ещё яростней продолжал: – Такая баба, ай-я-яй, накрылась! Охи баба! Вот так! Я с такой бабы конфетку бы

сделал, а ты в землю её положил. Такую бабу земле отдал. Эх-хэ-хэ! – И он опять покрутил пальцем у виска и стал всхлипывать.

Родственник тоже расчувствовался и не выдержал:

– Да. Наша жизнь – без выплаты душой. – И многозначительно обвёл глазами кладбище.

– Россия никак не может разродиться свободой. Вроде схватки у неё взялись, ан нет, не тут-то было, только преждевременный уродец выплюнулся. И этот недоделанный такой кручёный вьюн, что своими каменными желваками только мужика жуёт. А почему? А потому, что искусственная беременность была ещё при советах. Вот и пожинаем чудовище. Народ опять в стойле оказался. Люди с лёгкостью отдали свою свободу сквалыге. И рубль подмял душу.

Помолчав, он добавил:

– Живём мы иждивенцами у природы, а не умом. Она нас только и выручает.

– А чё, да. Пожалуй, ты прав, – согласился Игнат. – Выходит, была эпоха идейных дураков. А крокодилы повылазили и всё поглотали.

Тут блаженный Немша совсем разревелся. Перевернувшись на живот, он ткнулся лицом в траву и зарыдал в припадке, вздрагивая. Но вскоре затих и уснул.

Игнат видит, как листва деревьев и кустарников волнуется тонами: где неожиданно нахмурится густой зеленью, а где расслабится белесой. Берёзы отбеленными стволами туго вытянулись к солнцу. Выполощенное синевой небо глубит в себя его взгляд. И только сонные паутинки, лениво покачиваясь, вытягиваются в тоненькие ниточки в беззвучной прозрачности. И вдруг качнётся покой от крика испуганной птахи, она камнем кинет себя в чащу, и опять всё замрёт. И сознание чёрным кристаллом неморгающего зрачка умирает.

Опьяневший, увлечённый дуэт, забыв про Немшу, поднявшись, в разговорах стал удаляться с кладбища.

– Оно, конечно, жизнь наша не жемчужина, но и обуревать мрачностью тоже негоже, – напором налегал родственник.

– Но ты тоже пойми, у нас в детстве жизнь другая была, и мы это время спалили со школьной скамьи. В балду уходили. Мы же заразой-чудилкой заражены были. «Лучше балду бить, чем сваи», – убеждал себя и родственника Игнат. – И вот ушла сказка, и всё до последнего разворовали, а мы только остались бренчать скелетом.

Разгорячённые слова стали затухать в пространстве и, перейдя в глухой шум, вскоре совсем стихли. И удалившиеся фигуры, слившись с крайними постройками раскинувшегося посёлка, совсем потерялись.

Немша, проснувшись, подполз к венку и опять стал плакать. Поплакав, он, вытирая слёзы земельно-чёрным кулаком, густо измазал и так грязное лицо, стал ворчать.

– Жинщына должна верхуводить житём. Мужик, ыхы-хы, охи дурак, охи дурак! Ну да-а-а!

Озираясь вокруг и обнаружив, что один, он стал натягивать на себя венок. Но венок не поддавался. Тогда он с силой рванул его и, натянув на себя вместе с крестом, медленно, бурча под нос, потащился с кладбища.

Шёл блаженный по улице уже в сумерках с крестом на спине и с венком на животе. Шёл, взлохмаченный, грязный, в разорванной рубахе, вылезшей из штанов, размахивая руками. То остановится, покричит, шатаясь, то опять пойдёт, кидаясь из стороны в сторону. Встречная старушка, увидев такое чудище, в испуге, крестясь, шепчет.

– Свят, свят, свят! Матерь моя божия! И что ж творится-та? Ишто, никак бес ерепенится Русию поломать?! Нечистая окаянная повылазила охотой люд дурить никак?

Изумлённые бабы столбенеют с вытаращенными глазами, охают, хлопая руками по бёдрам. Только бесстрашная пацанва любопытной толпой да дробью хохота сопровождает его.

Долю умершей жены Игнат так и не съел. Он не может дотронуться до доли усопшей. Эта доля так и лежит, им не коснувшаяся, высоко на шкафу, как доля поминальная по ушедшей из жизни жены. Живёт он только желанием, что скоро улетит тоже в вечный полёт. А сейчас он только шарит в тёмной комнате чёрного кота.

Теперь, оставшись один, Игнат домой уже не торопится, только медленно бродит по улицам, по помойкам.

Упитанная маслянистая рожица, разъезжа-

ющая на дорогой иномарке, смотря на возившегося в мусорных контейнерах Игната, убивающей издёвкой кричит ему, не вылезая из машины:

– Эй ты! Ты небось миллионером стал. Я тебе не чета. Не угнаться мне за тобой. – И, хохоча под рёв мотора, этот счастливчик, радостный за то, что растоптал слабого, горделиво уезжает.

А Игнат, серьёзно занятый спасением своей жизни, увидев проезжего, только вежливо отвечает на это: «Здравствуйте».

У него нет уже сил парировать на едкие выпады зажравшихся. Игнат сломлен и подавлен, не может дать отпор этим сильным смеющимся. Его жизнь на волоске. И кроме как «здравствуйте» (это его защитная реакция) ответить он ничем не может. Для него сидящие в машине чудовищно страшны. Этим огромным бесчувственным валом он раздавлен.

Лишь люди, не затянутые жиром, сочувствуют ему, подкармливают его, делясь с ним со своего стола: кто супчиком, кто картошечкой, кто хлебом.

Игната стали посещать видения. Лежит он, и видится ему, как катится по стране огромное воровское колесо хамской малины. Где осевая втулка – из жлобной людской суррогати, а спицы – из держиморд: сгублю душу от министра, бессмертной бестии, до чинушной кручёной блошки. А связующим ободом является зуботычная публика бандитов, жуликов, плутов, шулеров да шутов. И вся эта ряженая блудь, сплетённая в разбойничью конструкцию, кичливо и весело двигаясь, давит молодые всходы свободы. Эта чванливая камарилья, упиваясь властью, разухабисто отыгрывается, пируя на безысходности униженных. Она уверена, что народ всё равно зачуханный и живёт на полувздохе загнанным борзым.

Проморгавшись от видения, Игнат горько утверждает: «А ведь всё это есть воочию».

Забился безвылазно Игнат в доме-берлоге, задичал в общении приблудных кошек. Стаями они прыгают к нему через форточку. Делится он с ними пропитанием с помойки, и кошки в благодарность зеленью своих глаз и мурлыканьем живят его. Полижут свою шерстинку и улягутся клубками цепочкой, охраняя его. А Игнат, изнывая, только сипло вытягивает:

– Вы тоже безработные, мышей не ловите, затупились у вас когти, а у меня вот затупилась голова. Мы все с вами выброшенные безропотные. Ну ладно, пришла ко мне тут красавица смерть и манит: «Пошли со мной, и ты полетишь. Здесь тебе плохо».

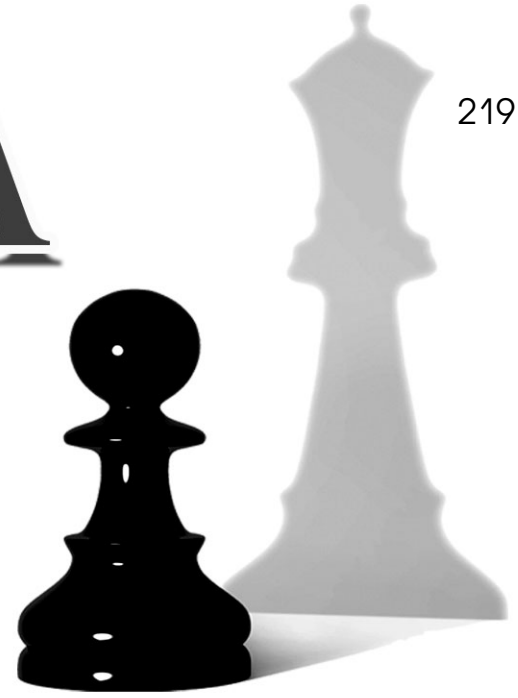
Стал Игнат задыхаться в лёжке омертвелой и вышел на улицу. Улица встретила пьяным воздухом, и он шёл, шатаясь, не разбирая дороги. Почерневшее небо опустилось на него свинцовой тяжестью, и он упал и пополз. Но силы его покинули, и Игнат лёг на землю недвижимым. Всё затянуло тишиной. Где-то только далеко-далеко тоненько звенит. Потом и звон прекратился, всё стихло. Всё потемнело. Всё исчезло. Стало ему хорошо и легко. Стали его поднимать, а он мёртвый.

В морге Игната побрили, из шланга напором воды прошлись по трупу, натянули одежду и, расчесав, упаковали в грубо сколоченный гроб. Лежит он с заострённым обескровленным лицом, маленький в большой безлюдности.

Хоронили Игната только двое: первая жена и повзрослевший сын. Сын стоит, мелом побелевший, и неотрывно смотрит на мёртвого отца. Смотрит и смотрит, не в силах оторваться. Словно привязан невидимыми нитями. Эти нити, нити родной крови тянут его, скованного, в страх. В страх предчувствия, что его отец пал усохшей грушей от бывших засахаренных начальников-скользунов и теперешних жуликоватых крутунов. Они подспудно мстят народу: «Вы хотели свободы! Вот и получайте, дохните свободно!» Они карают народ опустошением, стянули на себя всю скатерть полнокровной жизни и выжигают ему глаза башнями теремов, отдыхая на страдании обречённых.

Ушёл Игнат, упокоившись на кладбище, где деревья поднялись над крестами и сторожат тишину, которая усмирила и уравняла покоем всех здесь лежащих. Только месяц скучает в кладбищенской тиши да филин прошуршит крыльями, гоняясь за тенью привидений. Здесь спрятаны судьбы забытых поколений. Их души висят мерцающими звёздами, испуская лучи на землю, и, вспыхивая светлячками, оживают памятью об умерших.

ФИГУРА



В электричке ехал заросший человек с затасканной черной брезентовой сумкой. Наливал из грелки в алюминиевую кружку самогонку, закусывал краюхой хлеба, луком да килькой и громко разговаривал сам с собой.

– Вот где счас горбуша, кита, омуль байкальский? Во сейчас рыба какая! – потряхивал он хвостом кильки. – Куда все делось? Да и все втридорога, ну куда к черту! Зайдешь в пельменную, возьмешь порцию пельменей – семьдесят копеек. «Московские» пельмени! Да они что, растут там, что ли? Весь Союз на Москву работает. А вот в деревне, в столовой, на тридцать копеек наешься, да еще и останется, мать ее нихай. Все небо ракетами издырявили. Экологию нахратили, всю природу верхтормашкой поставили. Да какая тут рыба заведется? Она че, дура? Все этим, ну как его, ихним атомом попортили. А все это пупки, в три господа мать, переворошили. Знаю я этих коммунистов, они хитрые. Вот возьми во время войны: по разнарядке вот с этой, допустим, деревни сорок человек нужно взять – взяли, а господа эти – в стороне. Мой дед попал в это число и сгинул, а эти прохиндеи пригрелись, сладко едят, с бабами спят вдоволь на выбор, с какой хошь, да и посмеиваются, а мужики-то головы свои клали. Ты вот скажи, где же она, справедливость? Да случись счас война! Да я что, за родину пойду? Да я плевал!!! Нет у меня родины. Родина чихала на меня. Да я лучше этих гадов десяток вот этими руками задавлю, а там бери мою жизнь, не жалко. Вот нашему дорогому Леониду Ильичу Брежневу дали орден Победы. Да этими орденами после войны были награждены всего шесть маршалов: Сталин, Жуков, Василевский и еще... Кто же? У черт, забыл. Да ну ладно. А Ленька Брежнев до чего додумался, нацепил себе этот орден, и никаких. В маршалы себя возвел. Хрущев и то до этого не допёр. Так генерал-лейтенантом на тот свет и отправился. А этот смотри, скоро себе генералиссимуса нацепит. Тьфу, срамота какая!

– Ты, ботало! Заткнись! – не вытерпел кто-то из пассажиров.

В вагоне возник шумок.

– Откуда динозавр этот взялся? Настроение портит.

А этот динозавр родился нормальным ребёнком, от нормальных родителей. Но...

Отец, Ерохин, порол своего сына за двойки. Порол, порол, устал. Остановился, перевел дух и скумекал по-другому. Переправили сына на воспитание к бабке, подальше от позора, и махнули на него рукой.

Бабка от скуки попивала. К появлению внука отнеслась дружелюбно. Стали пить вместе, все ж веселей. На школу внук Гринька морщился, не по нраву она ему была. «Все какие-то там чумные, за пятерки из шкуры лезут. Поделили всю жизнь на оценки». С бабкой жизнь была неделимой, без оценок, целостная. Плавал Гришуня в этой целостной жизни до самого призыва в армию.

В армии тащил службу Гришка ношей нелегкой. Знал он ее постольку, поскольку носил солдатскую форму. Но лучше освоил наряды и гауптвахту. Забавным времяпрепровождением были для него политзанятия. Командир взвода лейтенант Смышляев вправлял мозги несмышленышам.

– Вы знаете, что коммунизм – это всеобщее счастье?! Денег не будет вообще. А наказанием будет отлучение от работы.

С этим, правда, не соглашался Григорий.

– А как ворам жить? Как им без работы-то быть, если денег не будет?

– Ты, Ерохин, не туда смотришь. Читай Моральный кодекс строителя коммунизма.

С достоинством вышел из тупика лейтенант. «Звонкий лапоть! Тмутаракань!» – сокрушался лейтенант на Гришку.

По своей натуре Гришка был прямой и шибко зашибся о службу, отбил себе к ней аппетит. От частых нарядов у него запершило в горле, потянуло глотнуть свежего воздуха. Отправился он за озоном в самоволку.

Ерохин был бельмом в глазу сержанта, зудящей болячкой в отделении, и чесались руки у командира прихлопнуть эту болячку, чтоб ладненько было, без изъяна. И вот представился случай – отсутствие Ерохина, сержант немедля доложил старшине. Старшина Жеребцов поднял роту по тревоге и повел третий взвод, в котором служил самовольщик, в соседнюю деревню Чигири.

– Взвод! Подтянись, аллюр в три креста, – подгонял он сонных солдат.

Войдя в деревню, подошли к одной из землянок. Носом чувствует старшина, что Ерохину быть здесь. Подошли к окну, в котором горит свет. Из окна, находившегося вровень с землей, доносился разговор. Кто-то из солдат постучал в окно.

– Ерохин, а ну выходь, ядрена мать.

Погас свет, голоса смолкли. Стали стучать в дверь.

В землянке обитали три семьи, вдоль нее виднелись три выхода.

– Ну, ясно, это он там, кому как не ему там быть, – гудела толпа, – ишь какой, тешится, а мы спать из-за него не должны. А ну вылазь, а то счас халупу разнесем! – кричали голоса. В дверь все сильнее и сильнее колотили. Изнутри послышался женский плач, потом стук. Все насторожились. Женщина причитала, стук раздавался все сильней и сильней. Что это значило, все недоумевали.

Вдруг из соседней двери выбежал дед в кальсонах, в серых подшитых валенках.

– Мишка, етит твою мать, здесь же красноармейцы!

С молениями он бросился к солдатам.

– Бойцы, бойцы, ну что же это делаться такое, а? Он же мне, сукин сын, стену прорубил.

И, подбежав к окну, нагнувшись, забарабанил.

– Ты што же это вытворяшь, што затеял-то, дурья башка?

И, кинувшись опять к солдатам:

– Где, где же это ваш командир-то будет, где?

Стук прекратился, отворилась дверь, и солдаты увидели человека с бледным небритым лицом. В дрожащих руках был топор. На его лезвии мерцал холодный лунный свет.

– Сунулся бы кто, башку бы отрубил, – прохрипел мужик.

– Тьфу! – сплюнул старшина. – В три господа мать! Да ты что? Пьянь? Ты понимаш, мы солдата своего ищем. Ну, выдь ты да скажи.

– А чё мне говорить? Вы ломитесь, а не я.

– Да если бы ты сразу вышел, мы бы поняли и ушли. А то сколько мы из-за тебя здесь проканителили. Ой, горе луково! Сколько же вас, таких мишек-шатунов, по белу свету бродит!

Зашел старшина к старику и чуть не поперхнулся, в нос ударило тяжелым смрадом. Земляной пол, в углу – нары с горой грязного тряпья. Возле нар стол, сбит из грубых нестроганых досок. Рядом бочка с водой. Печка, мазанная глиной, стены не белены. Кишат тараканы, клопы да блохи. Стена возле печи и впрямь прорублена.

– Во! Видал, что удумал, шальная башка, выход прорубил ко мне. Втемяшил, что за ним опять пришли, – показал дед рукой на разрубленное место в стене. – Мишка энтот с местов заключения объявился и прямо к Маньке. Всю ночь воркуют да пьют. А я-то думал, вы ко мне пришли дрова колоть, – слукавил дед. – Но опять же, думаю, поздновато. Мне как-то Гринька говорил: «Дед, я приведу роту солдат, они тебе враз дрова наколют».

– Это Григорий Ерохин? – поинтересовался старшина.

– А бох его знает. Наверно. Да бегает он к Любке, – показал он рукой на соседку.

Старшина кинулся к двери Любки. Дверь открылась, и предстал перед старшиной Ерохин.

– А, голубчик, ты тут!

– Тут, тут. Я тут к коммунизму Чигири готовлю. Политзанятия провожу. Просвещаю доярку Любку.

– Я те счас напросвещаю! Ты уже напросвещался в дым, и нос в табаке. Счас ты у нас, просветитель, загремишь на пять суток.

Старшина снял с Ерохина ремень, проверил оттопыренные карманы шинели. В одном кармане была заломленная краюха хлеба, в другом – завернутый в бумагу кусок масла.

– Давай, пошел вперед, аллюр в три креста до части! – скомандовал старшина Ерохину.

Старшина Жеребцов был охотник на смекалку и стал в мысль оформлять увиденное. «Так это что же получается? Если счас, стало быть, шестьдесят четвертый, то до коммунизма осталось шестнадцать годков, а в Чигирях и конь не валялся. Этой деревне до коммунизма тысячу лет волочиться, и неизвестно еще, доберутся ли. Что-то тут не то. Я же в своей роте знаю, сколько у меня солдат, сколько нужно пар сапог и каких размеров, сколько нужно пар портянок, летних и зимних. Я же держу в башке, что к чему и что в моём хозяйстве творится. А тут, видать, о деревне и ухом не ведут. Какая-то запарка выходит. Угорели, закружились головы у вождей! А может, там вместо головы кочан торчит!» – раскидывал он мозгами, пока шли до казармы.

Наутро Ерохина увезли на гауптвахту. Канителил службу Гришка до демобилизации. Стер не одну пару сапог. Стерли и его, армейская терка все перышки содрала. У Любки от Гришки родился ребенок. Любка простудила его. Умышленно сделала сквозняк, открыв в холодную зиму форточку и двери. Невинное голенькое дитя заболело и умерло. Григорий по умершему печалился и сокрушался. Обрушивался на Любку, что не сберегла ребенка. Он догадывался, что смерть была уготована Любкиными руками. Эти руки не были готовы к материнству. Однажды Григорий заглянул к Любке, а у нее другой солдат проходит обкатку ее лаской. Сделалось Григорию дурно, помутнел сознанием. И обуглилось его сердце на женщин на всю жизнь.

После службы Григорий вернулся домой, а бабки нет – умерла, домишко развалился. Стал он проживать в подвалах, на чердаках и в кочегарках. Все собаки его знают, даже пустолайки за своего признают. С родственниками он даже переговоры не заводит. Придёт к сестре, позвонит в дверь, та откроет и смотрит презренно. Григорий не заходит. Молча пляшет перед ней, кренделя выделывая, рожицы ей строит. Напляшется и уйдёт. Сестра – учительница, муж её – начальник, дети воспитанные.

Но как-то сестра с матерью нашли Григория в кочегарке.

– Ты чего дурака валяешь? Нас позоришь. Чего нормально-то не живёшь, не работаешь, как все? Мы тебя посадим за тунеядство.

И посадили. Но виновным себя на суде Гриша не считал.

– Вот вы судите меня, сытые, холёные, ухоженные. Вы не знаете вкуса куска хлеба с глотком простой воды. А вот возьмёт да не взойдёт ваше солнышко, заспится, собьётся с расписания. Вы же все, как тараканы, кверху пузами ляжете.

– А ты не ляжешь? – задал вопрос судья.

– Х-э-э, а я уже валяюсь, сородичи позаботились, отобрали у меня моё солнышко. – Он посмотрел в зал, где сидели мать с сестрой.

– Ты вот всем вину развесил, а себя виновным не считаешь? – спросил один из заседателей.

– Считаю. Считаю, что я зря в этот мир попросился. Не достучаться мне до вас.

– Ну, если бы всех просьбы учитывали, тогда бы не жизнь была, а игра в палочки-выручалочки, – вмешался судья.

– Э-э-э, а жизни-то и так нет, есть только толкотня. Живёт тот молодец, кто на руку удалец. Поэтому что зря суетиться-то. Изжуете вы меня.

Другой заседатель посоветовал: «Ну надо же как-то совершенствоваться».

– О-о-о, совершенствоваться! На совершенство надо волю. А где волю взять? Она-то не рождается, воля закаляется, а у меня вся закалка идёт на согревание тела.

После освобождения из мест заключения Ерохин стал занимать себя ездой в электричке, где мы его и встретили в начале рассказа, и игрой в шахматы.

У знакомого соперника по шахматам Петрова умерла жена. И тот попросил Ерохина съездить с ним к шурину за гробом. Он хороший столяр и смастерил себе заранее гроб, который сушился у него на чердаке. Сели в машину и

поехали. Приехали, погрузили гроб в кузов и, долго не разговаривая, поехали обратно. Шурин занял Гришино место в кабине, а Грише пришлось ехать в кузове. Возвращались уже ночью. В дороге их застала гроза, и Григорий спрятался от дождя в гробу, накрывшись крышкой. «Хороший домик»! Понравился Грише гроб, и Грише сделалось легко и ясно. Сосновый гроб разморил смолянистым духом Григория, и он заснул. Снится ему нормальная человеческая жизнь: живёт он в хорошей семье, сидят они все вместе за столом и кушают. Отец его не материт, а уважает, называет его Григорием. Не бьёт его. Купил ему для школы новый портфель, и они вместе читают сказки, играют, радуются, смеются. Ходят с отцом в баню, и отец ему мыльной мочалкой растирает распаренное тело.

Спит Гриша в гробу. А в кузов сели попутчики. На ухабистой дороге затрясло, гроб стало подкидывать. Гриша проснулся, поднял крышку, чтобы посмотреть, что происходит. Но как только заросшая голова осветилась луной, попутчиков из кузова как ветром сдуло. И Гриша из сна явился в реальность.

Приехали, шофёр спрашивает:

– Ероха, а где попутчики?

– А кто их знает. Не понравилось им, пешком пошли.

– Знамо дело, где им с тобой понравится. Увидишь тебя, так от страха на луну запрыгнешь. Такое чучело в огороде поставь – вороны за версту облетать будут. Благодари бога, чтоб живы остались.

Схоронил Петров жену. После поминок Петров шепнул шурину.

– Ты сыграй в шахматы с этой фигурой, – кивнул он головой на Гришу. – Тебе в твоём околотке нет равных.

И шурин уверенно стал играть с Григорием. Первую партию Григорий выиграл. Это шурина огорошило.

– Давай ещё, – предложил он Грише.

Сыграли ещё партию. Григорий выиграл.

– Фу! – перевёл дух шурин. Виски у него вздулись, глаза округлились.

– Ещё давай.

Сыграли ещё. Григорий выиграл. И сколько они ни играли, Григорий уверенно выигрывал. Устал шурин, затряс головой.

– Ну, фигура, скажи, ты случайно не гроссмейстер?

– Гроссмейстер, гроссмейстер. Я в шахматы выучился играть в зоне, там от скуки будешь мастер на все руки. На жратву играли. Проигравший отдаёт свою пайку победителю. Не хошь быть голодным – шевели мозгами.

– Ну ладно, по такому случаю давай по чарке.

Захмелев, разговорились.

– А ты чё, бобылем топорщишься, словно жизнь пасешь? – спросил шурин.

– Пасешь... А мы все в этой жизни пасынки. Отец стегал меня, не оправдывал я его надежд. Он хотел впихнуть меня в социализм инженером, а мне хотелось быть просто человеком. Пупком не вышел в инженеры. Вот и драл он меня от обиды, не хотел обмишуриться. Знакомые-то в инженеры да в начальники кинулись, чтобы отхватить лакомый кусок, а я – Иванушка-дурачок. Вот и копчу небо один. Не хочу никому быть обязанным, не хочу ни перед кем расшаркиваться. А оказывается, человеком-то быть нельзя.

Теперь Гриша посещает кладбище, провожает усопших на погост. Народ стал замечать: где покойник – там обязательно появляется угрюмая, молчаливая фигура Григория, словно знак какой. Для него стало утешением и занятием бывать на кладбище, словно он в этом нашёл смысл.

Он тайно радуется и торжествует душой: чем больше расширяется кладбище, тем больше утверждается он. «Есть и над вами сила, вы все ей покорны. Не только вам дана сила изгаляться надо мной, но и над вами есть сила. Вон она вас сколько положила», – говорит в нём душа. И горящими глазами он окидывал кладбище.

С возрастом фигура Григория стала пугалом. Безрассудные жестокие мальчишки бросают в него камнями. Весёлая молодёжь улюлюкает, издевается над ним, добивает его смехом.

И вот не стало Григория, куда-то делся. Прошло несколько лет. На чердаке полузаброшенного многоэтажного дома была обнаружена сидячая мумия, спиной прислонившаяся к вентиляционной трубе. За пазухой у мумии была ещё одна мумия – мумия маленького щенка, крепко прижатого к груди руками.

В ОТПУСК С СЕВЕРА

В легкий весенний морозец радостная женщина, выйдя из дому, заспешила в магазин. Навстречу ей соседка:

– Клань, какие у тебя унты-то баские!

– Да, баские! Сын с Северу привез! – она приподняла подол пальто. – Вот, говорит, тебе, маманя, носи да радуйся! Ы-эх, загляденье!

У Клани сын Венька укатил на Север за большим рублем. А Клане тоска, скучно, и пишет она ему письмо: «Ты там болтаишьси на Северу, а я здесь плачу, одна сижу, как сыч».

Венька отвечает: «Не плачь, мать, пусти в дом какого-нибудь мужика, и воркуйте, вдвоем веселее время коротать-то будет».

И только к приезду сына Кланя успела мужичонкой обзавестись. И как на постой его приспособила, сразу стали пить вместе, спать вместе. Мужик тот по фамилии Терёшкин до приезда Веньки так и не мог себе в голову втемяшить, кто он Клане: то ли муж, то ли собутыльник, то ли квартирант. А потом бросил биться. Ещё сдвинутся, не дай бог, мозги. Что голову надрывать? Будь что будет – пан или пропал.

Венька тоже не один приехал, прихватил с собой девицу, и пока мать по магазинам рыщет, он, наскучавшись по родимой баньке, первым делом решил начать свой отпуск с неё. Настегался ядрёным берёзовым веничком, густым парком прокалился, разрумянился, чуждую грязь выгнал из своего сбитого тела. И, словно новенький, свеженький, стал Венька важно со своей девицей по селу прохаживаться.

Девица – каланча, на голову выше Веньки. Венька упитанный, с широкой физиономией, идет чинно в новеньком кожаном пальто и всем знакомым представляет её:

– Моя избранница. Прошу любить и жаловать, – и приглашает в гости. А избранница только важно глазами водит да всё молчит, да Веньку зовёт только по фамилии: «Талданов, пошли!»

Венька, чтобы покорить родное село да придать форсу, отпустил бороду. Та борода своей густотой изумляет сельчан и глаза им выворачивает да вкрадывает сомнение об её нужности. Встретил Венька старого знакомого выпивоху и в знак широкой души прилепил ему погоны из червонцев:

– Пей, кирюха, за моё здоровье!

«Смотри-ка, Кланькин выкормыш прикатил, отожрался на северных харчах, морда кирпича просит! Дурак! Сорит деньгами!» – гудели сельчане.

Скоро из любопытства в дом набрались знакомые, соседи, родственники, большой стол шумно заполнялся народом. Накрывая стол, Кланя, бегая, привлекала внимание гостей на стенку, где висел портрет:

– Не правда ли, красавец какой, э-э-эх! – она указывала головой на портрет сына, саморучно намалёванный маслом Венькой, где мастер от души вольно побегал кистью по полотну, не подозревая о технике портретной живописи. Венька старался внушить вам сходство с живым оригиналом, лишь положившись на талант и желание. А с портрета всего

лишь навсего смотрит на вас гордый лик, пышущий самодовольством.

– Ну дак есть в кого, в мать пошёл! – поддакивали скорые на слово бабёнки.

Перед Венькой на столе была поставлена огромная чашка чищеной сырой рыбы.

– Ну, давайте по первой! – скомандовал Венька. Загремели стаканы. Венька после пропущенного стакана стал пожирать сырую рыбу. Видя, что народ насторожился, он, не тушуясь, стал призывать следовать его примеру. Один мужичонка потянулся было за рыбкой, но тут же его рука была отбита женой.

– Что вы какие-то тупые! – возмутился Венька. – Чё чванькаться-то, трескайте, да и баста, делов-то тут, в соль её макнул да и айда.

Тут едкий мужичок стал у Веньки допытываться:

– Как там на Северу-то? Деньги небось лопатой гребёте?

– А зачем лопатой, они сами с неба сыплются, только не зевай, карман шире подставляй, и вот они тут как тут. А ежели ещё ухо держать будешь востро, то деньгам вообще счёта не будет, – от этих слов мужик встал умом на развилку: – «То ли брешет, стервец, то ли правду брякнул, зараза. Нет, пожалуй, правду, нас обобрали, а север золотым дождём обсыпают. Далеко же отсюда, не видать. Ох, как не видать!»

Все чаще гремели стаканы и громко орудовали ложки, и так всё по очерёдности шло своим ходом. В разгаре шалмана кто-то ляпнул:

– Чё мырло-то своё не броешь!

Венька глазами всех буравит:

– Кто вякнул? Кому моя борода глаз колет?

Но все заняты едой, только ложки шумят да аппетитно рты причмокивают.

– У, крепостные! – обиделся Венька. Стал пить стакан за стаканом. Шея вздулась. Обстановка набухла взрывом. Венька взял и смазал по морде близсидящему и косящемуся на него мужику. Тот ударил головой соседа, и пошла по цепочке драча. Потасовка овладела застольной массой, чашки, ложки были брошены, засверкали кулаки, затрещали рубахи. Венька, отмахиваясь, всаживал кулаки в наседавших на него, только хряп стоит да кровь брызгами разлетается. Женщины подняли визг. А Венькина избранница весело успевает пластинки ставить на радиолу. Руководит музыкальным сопровождением мордобоя.

– По кумполу ему, по кумполу! – вопил голос на Веньку.

Кто-то, изловчившись, огрел Веньку стулом. Визг сменился воем. В этом угаре Венькиному родственнику порвали ухо. Женщины стали растаскивать мужиков. И, как бойня улеглась, стало тихо, что в мавзолее. Терёшкин валяется в одном углу, Венька – в другом. А Венькина подруга сидит за столом и спит. Посредине комнаты застывшим камнем сидит Кланя. Глаза её то ли куда-то смотрят, то ли какую-то мысль догоняют.

Утром, поднявшись, Венька, нащупав на голове шишку, подавил её, определяя состояние головы, и, убедившись, что угрозы никакой нет, стал активно входить в новый день. В доме что Мамай прошёл. На полу валяется изуродованный, превращенный в лохмотья Венькин портрет.

– Ничё, мать, не переживай, и не такое мы ещё Куликово поле проходили.

И, похмелившись, махнули в город купить телевизор. Попутно заехали на базар, купили поросёнка и с этим товаром прибыли домой. Телевизор поставили на этажерку. Поросёнка вытряхнули из мешка: «Пускай побегает, порезвится животинка». И, усевшись за стол, стали пировать, обмывать покупки.

А малюсенькая животинка, бегая, резво кружила по комнате, похрюкивая. Подбежав к этажерке, поросёнок айда о неё тереться, раскачивая. Хлюпкая этажерка повалилась, телевизор хряпнулся на поросёнка и зашиб его намертво, а сам развалился. Кланя, разводя руками, причитала:

– Почто напасть такая на нас?! Ну чё мы такие-то! Ну нет нам никакого счастья в жизни! У людей всё как у людей, но у нас всё не так! Нешто мы умом обойдённые, всё у нас на ветер пускается. Почему у нас так-то, а? Чем мы хуже других? – голосила она, надрываясь криком.

– Ладно, мать, не вой. Похлеще бывает, да ничё, подумашь, беда-то большая, всё это наживное. Садись-ка лучше за стол, есть дело поважнее.

И стал Венька раскладывать свои планы.

– Вот счас поедем на юга на солнце пожариться, морской волной побаловаться, кислороду наглотаться, а то там, на Северу-то, от его нехватки мозги-то совсем ссохлись. А оттуда махнём в столицу. Колёса надо купить. И при-

катим на своей тачке, как все порядочные люди, вот так-то.

Тут явилась соседка Марья, чтобы посмотреть, не сбрил ли Венька бороду. «Нет, не сбрил, на месте, жива-живёхонька», – изумилась Марья.

– Эт ж над ж Петьша Кирьянов, холера его подери, сунулся с мырлом-то со своим, так яму ноздрю-то и откусили. Да, откусили, за длиннат языка-т, вот так вот яму! – принесла она сообщение о последствиях побоища.

Ну и ещё охота посмотреть, что там привезлито с городу-то интересного! А как увидела разломанный телевизор и убитого поросёнка, так тут же сразу об этом и узнало всё село.

Несколько дней Венька с Терёшкиным красили крышу родительского дома, где Терёшкин обнаружил свою непригодность к работе, не столько красил, сколько нутро своё водкой промывал. И так ухлестался, что чуть с крыши не свалился. Покрасив крышу, Венька со своей девицей стал готовиться к отъезду на юг. Отъезд отметили бурным застольем. От застолья Терёшкин очнулся только к концу следующего дня. Очнулся, а Веньки с девицей уже не было, где-то катили в сторону юга. И в отсутствие Веньки Терёшкину ничего не оставалось делать, как поминать события да похмеляться, что они и делали с Кланей. Пили, дрались, мирились. Потом опять пили, опять дрались, опять мирились, оба в синяках да в ссадинах. И время пролетело быстро. Не заметили они даже, как Веньку притащили на буксире на разбитых «жигулях». Открыли глаза лишь тогда, когда Венька переступил порог дома.

– О-хо-хо, какой чёрный стал, от югов-то! – только и вскрикнула Кланя.

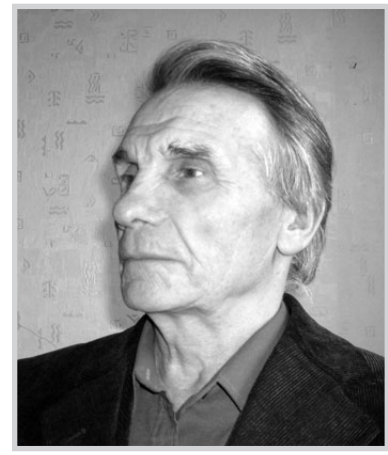
Венька покачал головой да завалился от дороги в длинную спячку.

Проснувшись, он обвёл глазами неприбранный двор, сердито закрутил головой и, налившись свинцом, авансом набил морду Терёшкину. Набил, чтобы в его отсутствие не обижал мать. Не нравилось Веньке в Терёшкине, что он не охотник на работу. Пущен человеком в их дом, а смотрит всё волком в лес.

Перед отъездом пошёл Венька по родным местам да по окрестности запечатлеть на память край, где родился. Походил по местам бесхитростного босоногого детства, где жизнь не баловала его и он не баловал жизнь, не засиживался у неё в должниках. И, находившись, смахнув выбитую слезу по навсегда ушедшей ясноглазой громко-песенной юности, где край оглашенно тревожили задорными голосами, засобирался назад. Сгрёб щемящее сердце да свою зазнобу в охапку, сели в самолёт и улетели. Улетели на далёкий север зашибать северные. А «жигулёнок» его стоит во дворе дома, ржавеет в грусти, да на заборе болтается его изодранное кожаное пальто. Болтается на ветру в память о Веньке.

Уехал сын, а мать не найдёт себе места. Всполошённый приезд Веньки зарыл в её голову тревогу, и что делать, Кланя не знает. Мысли роем голову кружат, готовы её разорвать да сон прогоняют.

□

Виктор Маркович РУЖИН

родился в 1940 году в Копейске Челябинской обл.
Окончил Копейский горный техникум,
по специальности «горная электромеханика».
Прозаик.
Печатался в журналах «Южный Урал», «Графоман»,
«Московский Парнас», «Свечение», «Светунец» и других изданиях.
Автор четырех книг: «Распутица»,
«Жизнь без узора», «Тропа в никуда»,
«Дневниковые записи, записные книжки, рисунки и наброски».
Член Союза писателей России».
В журнале «Север» публикуется впервые.